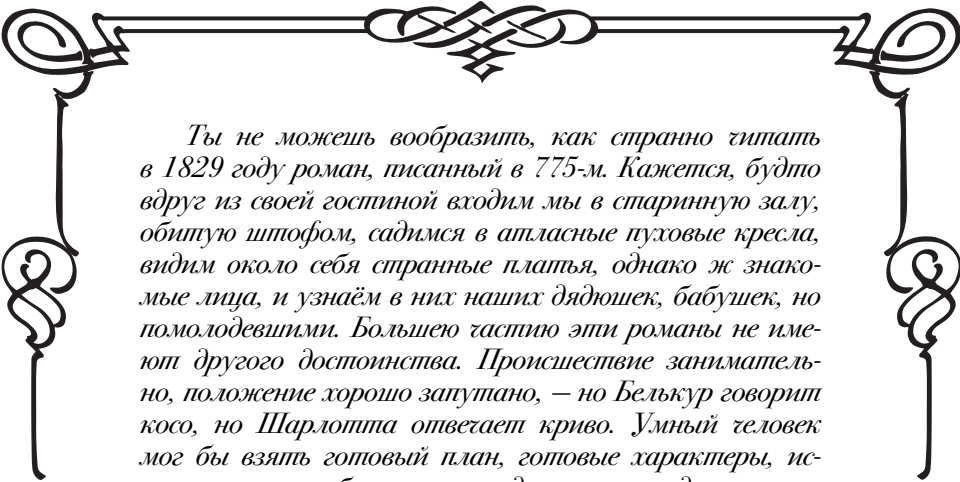




**ТОМ
ПЕРВЫЙ**





Ты не можешь вообразить, как странно читать в 1829 году роман, писанный в 775-м. Кажется, будто вдруг из своей гостиной входим мы в старинную залу, обитую штофом, садимся в атласные пуховые кресла, видим около себя странные платья, однако ж знакомые лица, и узнаём в них наших дядюшек, бабушек, но помолодевшими. Большою гаспнию эти романы не имеют другого достоинства. Происшествие занимательно, положение хорошо запутано, — но Белькур говорит косо, но Шарлотта отвечает криво. Умный человек мог бы взять готовый план, готовые характеры, исправить слог и бессмыслицы, дополнить недомолвки — и вышел бы прекрасный, оригинальный роман.

Александр Сергеевич Пушкин
«Роман в письмах»

— Паул! — закричала графиня из-за ширмов, — пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

— Как это, grand'tata?

— То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

— Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

— А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста, пришли!

Александр Сергеевич Пушкин
«Пиковая дама»

— ∞ — ГЛАВА I — ∞ —

Отставной капитан Копейкин был пьян и совершенно счастлив.

Первую чарку водки он хватил в ближайшем кабаке на Литейном проспекте, едва сладив дело, ради которого так долго добирался в Петербург. Хмельной дух шибанул в нос, под темечком приятно потяжелело. Копейкин прислушался к ощущениям, удалым жестом расправил седеющие усы и шумно выдохнул:

— Хорош-ша-а-а!

Он подмигнул вздрогнувшему кабатчику — всяк выпьет, да не всяк крикнет! — по русскому обычаю не стал закусывать после первой и отказался от второй, направившись к Невскому проспекту.

На подходе к перекрёстку Литейного с Невским гомонила *вшивая биржа*. С утра до ночи в поисках найма тут слонялись подённые рабочие и мастеровые. Одни коротали время ожидания, севши на каменные тумбы вдоль тротуара перед бродячими цирюльниками, и под стрекот ножниц расставались со своими патлами. Другие лениво судачили про эпидемию холеры, которая бушевала второй год. Третьи провожали взглядами рессорную бричку с вихлявшим колесом и от нечего делать бились об заклад: доедет ли это колесо, если б случилось, до Москвы? Четвёртые собирались в тесный кружок и с оглядкою спорили, кому на Руси жить хорошо...

Капитан миновал болтунов и у самого Невского перекрестился на сияющие в некотором отдалении кресты Владимирского собора.

— Лево́й-то руко́й только басурманы крестятся, — проворчала рядом баба с лицом, похожим на кукиш.

— Эх, ты... дура, — беззлобно сказал ей Копейкин, отвернулся и поковылял своею дорогой, стуча о булыжную мостовую костылём и деревяшкой, которая заменяла ему правую ногу от колена.

Баба смотрела вслед перекошенному офицеру в тёмно-зелёном мундире с приколотым к боку рукавом: правой руки у капитана тоже не было.

Копейкин оставил за спиною ту часть Невского проспекта, что вела к обрывистой речке Лиговке и одноэтажным домикам с огородами у Знаменской площади. Всё это было предместьем, которое мало чем отличалось от прочих городов империи. Копейкин держал путь по Невскому в противоположную сторону — к Ани́чкову мосту через реку Фонтанку, где за будкой со шлагбаумом начинался настоящий, столичный Петербург.

Чарка водки натошак раззадорила Копейкина: раз уж дело сладилось, капитан решил кутнуть. Молодецким свистом он по-



дозвал извозчика, и тот прокатил его на лёгких дрожках вдоль главного проспекта России. Крутя головою, Копейкин дивовался на богатые дома и строгие дворцы; разглядывал неспешно фланирующую публику и встречные экипажи; озирали многолюдные галереи Гостиного двора и Милютинские ряды, где роились торговцы фруктами; пересчитывал колонны Казанского собора... В июньском небе сияло солнце — окна по правой стороне проспекта, глядевшие на юг, сверкали в его лучах. Невский был прекрасен, и прекрасною казалась жизнь.

Капитан перевалил Мойку по чугунному Зелёному мосту, облизнулся на витрины кондиторской Вольфа и Беранже и велел остановиться, немного не доезжая Адмиралтейства, на углу с Большой Морской улицей. В трактире Палкина выпил он вторую чарку, опять оглушительно крикнул, не закусывая, и продолжил нагуливать аппетит променадом до Малой Морской. Там в глаза Копейкину бросилась вывеска ресторана «Город Париж» — это капитан тоже посчитал добрым знаком: в стародавние времена брал он штурмом французскую столицу... Решительно всё нынче складывалось к его удовольствию!

Копейкин мысленно сделал ревизию своему ассигнационному банку. По прибытии в столицу богатство капитана составляли десяток синих пятирублёвок и горсть серебра с медной мелочью. За пару дней с тех пор в карманах произошла некоторая убыль, но под нынешнее настроение он готов был расстаться с частью капитала и смело пошёл на приступ «Города Парижа».

Вышколенный официант, судя по росту и стати, прежде служил в гвардии. Он быстрым взглядом окинул гостя, который задержался при входе, чтобы изучить меню. Поношенный армейский мундир времён государя Александра Благословенного лоснился на локтях и особенно у левой подмышки, где натирал костыль. Красный стоячий воротник и лишённые бахромы эполеты с полустёртым номером дивизии побурели от времени. Увечный офицер чуть заметно шевелил губами, разбирая названия блюд: меню было писано затейливыми вензелями по-французски. Он снял фуражку, под которою обнаружилась лысина с прилипшими в беспорядке пегими прядями. На завсегдатая дорогих ресторанов отставник ничуть не походил...



...но в зале вальяжно устроился на стуле, выставил деревянную ногу в сторону и уверенным тоном скомандовал официанту:

— Котлетку мне с каперсами будь любезен. Пулярку с финтерлеями... э-э... — он пощёлкал в воздухе пальцами, — с этими... финтифлюшками всякими, как положено. И юн бутэй дё вэн руж. Тю а компри?.. Вина, говорю, бутылку красного, да поживее!

Двумя бокалами Копейкин помог себе скоротать ожидание, а третьим щедро залил горячий жир котлетки. Она хрустела золотистой корочкой, из ароматного разлома круглыми зеленоватыми глазками выглядывали каперсы... Оголодавший капитан истребил поджаристое чудо так скоро, что не успел даже толком распробовать вкус, и велел себе впредь не торопиться.

Надобно думать, рукастого повара в «Город Париж» и впрямь наняли во Франции, а происхождение пулярки, раскормленной чуть не вдвое против обычной курицы, осталось тайною. На блюде её окружала вычурная композиция из обильного и разнообразного гарнира.

— Как приказали ваше благородие, с финтерлеями! — отрапортовал официант и оставил Копейкина наедине с раблезианской трапезой.

Пулярка была фарширована бузиною и ромашкой. Нежно-розовое с виду куриное мясо оказалось ещё более нежным на вкус и таяло во рту капитана, который не спеша обсосал каждую косточку. Столь же аккуратно он подобрал весь гарнир, поймал языком последние рубиновые капли из бокала — и откинулся на стуле в блаженной сытости. Под мундиром обрисовалось брюшко, возник даже соблазн расстегнуть одну-две пуговицы. Не поддаваясь соблазну, Копейкин кликнул официанта, благосклонно похвалил кухню и расстался с пятирублёвой *синюхой*, отказавшись от сдачи, — это стоило ему известного усилия.

На улице осовевший Копейкин кулём повис на костыле, озираясь кругом. Туманный взгляд его привлекла стройная англичаночка, которая лебедем проплыла мимо. Кровь капитана, разогретая водкою и перемешанная с французским вином, выиграла, как у юного корнета. Он припустил было следом за девицей по тротуару, выстукивая деревянною ногой в паре с костылём затятные дробы...



...но вовремя себя одёрнул, сбавил ход и поковылял вдоль Малой Морской прочь от Невского. Придёт и для барышень время, думал он. Считанные дни подождать осталось, пока сладившееся нынче дело будет улажено полностью и окончательно. Вот тогда – ух!

Дышалось Копейкину легко, несмотря на плотный обед. Простор! Простор, напоённый свежим морским ветром, – вот чем отличался Петербург от Москвы, Варшавы, Лейпцига, Берлина и любых прочих городов, которые во множестве повидал капитан за годы службы. Разве что Парижа ему толком разглядеть не удалось, но и Париж небось жидковат против российской столицы.

Малая Морская скоро вывела Копейкина к презрительной площади, среди которой высились деревянные строительные леса исполинских размеров. Здесь уже который год возводили Исаакиевский собор, четвёртый или пятый всё на том же месте. Кругом лесов копошились рабочие, а сквозь доски частоколом проглядывали неохватные колонны, тёсанные из цельного гранита. Каждая была высотой сажени в десять и весом никак не меньше семи тысяч пудов. Как их сюда приволокли, как сумели установить – в голове не укладывалось.

Капитан сделал привал на подвернувшемся чурбаке и, похрюывая короткую немецкую трубку, с полчаса дивился безграничным возможностям человеческим. Затем он пересёк площадь и поковылял Вознесенским проспектом через Фонтанку на окраину столицы: пройти оставалось ещё версты полторы.

Жильё Копейкин подыскал у Малой Коломны. Прибывши в Петербург, он сперва бродил по центру города в попытках нанять комнату, но цены уж больно кусались: за пыльные гардины с ламбрекенами и вытертые ковры хозяева спрашивали, как за хоромы какого-нибудь персидского шаха.

– Да где ж это видано?! – возмущался Копейкин. – Тут и последнюю рубаху снимут! Небось от меня большими тысячами-то не пахнет...

Это верно, пахло от капитана только долгой трудной дорогой в тысячу вёрст, а пятирублёвки в кармане слиплись в тощую синюю книжицу. Пришлось Копейкину откочевать на окраи-

ну к хмурым эстонцам, но и в ревельском трактире за постель и обед из щей с куском битой говядины спросили с него рубль в сутки: не больно-то заживёшься.

Идучи к трактиру, где-то на Офицерской капитан приметил в угловом доме питейное заведение под золотой виноградной гроздьёй и табличкой «Семейная фирма Корнелиус Отто Шитт, anno 1818». Винный дух из Копейкина уже малость выветрился, но желание кутить не пропало.

В кабачке смешливый слуга приветствовал гостя прибауткой:

*В Петербурге-то вино
За две денежки ведро.
Хошь пей, хошь лей, хошь оказывайся,
Знай живи да поворачивайся!*

Вино пили чиновники, сидевшие компанией у стола в центре небольшого зала. Капитан угнездился за столом в углу и велел подать пива.

— У нас баварское, — сообщил половой. — Вашему благородию «Шиттовское» или «Канненброй»?

— «Канненброй», — с видом знатока отозвался Копейкин: в неведомом названии послышалась ему артиллерийская канонада.

Половой принёс холодный кувшин под шапкою плотной душистой пены.

— Закуски могу предложить, — сказал он. — Сухарики, сметки, мочёный горох, раки... Всё для вас!

Пиво на заводе «Бавария» варили знатное: от него веяло ржаным хлебом, и на языке у капитана заплясали горькие колючие пузырьки. Смакуя первый стакан, Копейкин обозрел заведение. Над входом, как положено, распластал крылья двуглавый имперский орёл, а вот портрета государя нигде не нашлось. Копейкину охота была поговорить, но чиновники не заслуживали его внимания, и он снова подозвал полового.

— Куда ж ты, братец, Николая Павловича подевал? Непорядок!

Слуга смекнул, из какой глухой провинции явился калека, и потешил его столичным анекдотом. В самом деле, прежде вся-



кий кабак держал на стене портрет императора Александра Павловича, но брат его — нынешний император — отменил обычай из-за пьяного купца. Тот беспamięтно куражился в каком-то заведении, срамные речи говорил, ругал по матушке кого ни попадя... Кабатчик пытался его урезонить — мол, разве можно эдак выражаться при самом государе?! И на портрет показал. А купчина ему в ответ: плевать мне на государя!

— Он ещё похлеще завернул, — возмутился половой, — чего при вашем благородии даже повторить совестно. Про такое дело сей же час донесли государю. Думали, он купцу голову снимет с плеч. А Николай Павлович только посмеялся: во-первых, сказал, мне на него тоже... — слуга хихикнул, — наплевать, а во-вторых, говорит, портреты мои по кабакам отныне вешать запрещаю!

Копейкин принялся за второй кувшин и надумал раскурить трубку, когда через порог шагнул молоденький гвардейский поручик. Слуга расцвёл слащавою улыбкой и заворковал:

— Добрейшего здоровьица, господин Дубровский! Рады, ваше благородие, душевно рады... — Не иначе, в кабачке поручик был завсегдаем. — Откушать изволите, Владимир Андреевич?

— Друзей подожду, — отвечал офицер. — Пива подай покуда.

Он едва посмотрел в сторону компании чиновников и упёрся взглядом в Копейкина. Тот сосредоточенно возился с кисетом: даже при многолетнем навыке развязать одной рукой теёмки было для хмельного капитана делом непростым.


— Позвольте вам помочь, сударь, — сказал гвардеец и, не дожидаясь ответа, присел за стол. Он взял кисет в правую руку: левая висела на перевязи. Впрочем, пальцы её работали, так что узел скоро был побеждён. — Прошу!

— Благодарю покорно, — откликнулся Копейкин, загрёб табак в трубку и кивнул на раненую руку. — Дуэль?

Дубровский усмехнулся. Если молодой и гвардеец, значит, непременно дуэль...

— Под Остроленкой зацепило. Царапина, ничего серьёзного.

Копейкину стало стыдно. События в Польше были на слуху, и о майском сражении под Остроленкой много писали в газетах. Выходит, симпатичного Владимира Андреевича отослали



домой из Гвардейского корпуса, который воевал с повстанцами. Оно и понятно: на марше и в постоянных жестоких стычках, да ещё когда кругом свирепствует холера — раненый для товарищей обуза... Капитан постарался загладить неловкость.

— Обидно, наверное? Первый раз в настоящем деле, и сразу такое, — заметил он тоном бывалого солдата. — Пуля — дура...

Поручик забавно пошевелил тонкими золотистыми усиками, придвинул Копейкину свечу, чтобы тот смог, наконец, прикурить, и опять усмехнулся:

— Шрапнель, не пуля. А в деле я побывал ещё корнетом в турецкую кампанию три года назад.

Копейкин поперхнулся табачным дымом и был смущён окончательно. По счастью, половой очень кстати принёс поручику пиво, офицеры звякнули стаканами за знакомство — и потекла у них неторопливая беседа. Слово за слово выяснилось, что Дубровский тоже родом из Рязанской губернии. Крепко выпивший Копейкин расчувствовался и как на духу выложил земляку свою историю.

— Вам сколько лет, Владимир Андреевич?.. Двадцать один?! Хм... Уж простите старика — решил, понимаете ли, что вы много моложе... Прекрасный возраст! А я капитаном сделался в двадцать семь. Били мы тогда Наполеона в Европе. Крепко били, сударь мой! Правду сказать, нам тоже доставалось, но меня господь миловал: всю Польшу, Пруссию и Францию до самого Парижа прошёл, считай, целёхоньким. Вот он уже, Париж, а перед ним холм, называется Монмартр. Высокий, оттуда весь город — как на ладони... Поднатужились мы с ребятами напоследок, взяли этот Монмартр на штык. Вроде и бой окончен, труба слышится... Вдруг — хлоп! — ничего не помню. После говорили, француз последним залпом накрыл. Очнулся в лазарете — ни руки, ни ноги... боль страшная... Думал, помру, и жить не хотелось — на что нужна такая жизнь... однобокая? Но нет, не помер. Выходили меня, домой отвезли к отцу на Рязанщину. Да-с... Первое время было совсем туго. Отец и сам-то едва концы сводил с концами, одна всего деревенька в имении, а тут я ещё, словно дитё малое, обрубок человеческий, проку никакого... Ничего, пообвыкли. Со временем из инвалидного капитала



мне понемногу платить начали, так и вовсе жить стало можно. Плохо, но можно, коли деньги свои у чиновников удастся выцарапать. Наездисься, наунижасься, иной раз думаешь — лучше уж с кирасирами французскими лоб в лоб, чем с нашей канцелярией бодаться... Вот, стало быть. А в прошлом году на Покров преставился родитель мой, царство небесное. Схоронил я его — и самому тоже хоть ложись да помирай по второму разу. Холера не унимается, зима голодная, людишки ропшут... Вроде бы немного роптальщиков, но уже в некотором роде шум. Чего доброго, думаю, ещё бунтовать начнут. Успокоил их, как мог, денег последних наскрѣб — и сюда. Свет не ближний, тысяча вёрст, а ямщикам прогоны по восьми копеек с версты заплатить изволь, и кормят на постоялых дворах тоже не за-ради Христа, и через кордоны холерные ещё попробуй проберись. Благо, мир не без добрых людей: иные за увечья мои позволяли к обозу пристать или к фуре казѣнной, всё какое-то облегчение... А здесь, понимаете ли, заседает высшая комиссия насчѣт бедолаг вроде меня, и в комиссии генерал от инфантерии Троекуров Кирила Петрович председателем. Я нынче с утра пораньше прямо к нему: он в Литейной части квартирует, дом у самого проспекта — не знаете?.. Помрачение ума, сударь мой, чистое помрачение ума! Стѣклушки в окнах саженные — мраморы внутри насквозь видно. Ручка дверная с выкрутасами, да надрана так, что руки впору поддня тереть с мылом, прежде чем за неё хвататься. Швейцар вида графского, воротнички батистовые, булава в золоте и сам жирный, точно мопс какой. Вазы кругом фарфоровые — упаси бог локтем задеть или деревяшкою своей... Я в уголку притулился и часа четыре отстоял, словно у знамени. Наконец, выходит Кирила Петрович, а народу собралось — как бобов на тарелке, и ведь одни сплошь полковники с генералами, не мне чета. Все по струнке, тишина страшная. Он к одному, к другому: «Что вам угодно? Вы по какому делу? Вы зачем? Вы?..» И такое у него, понимаете, лицо... сообразно званию... Одно слово — государственный муж! Я стою, ни жив ни мѣртв; справа эполеты золотые, слева... Думал, не заметит меня. Ан нет — заметил! Подходит, спрашивает: «Вам что за нужда?» Нужда, говорю, крайняя, ваше высокопревосходитель-

ство. Проливал, понимаете ли, кровь за веру, царя и отечество, по тяжести ранений работать не могу, отца схоронил, остался без средств к существованию, осмеливаюсь просить монаршей милости... Оттарабанил — и стою, дрожу в ожидании судьбы своей. Посмотрел он эдак внимательно, сверху вниз взглядом смерил; глядь — руки у меня нет, извольте видеть, и вместо ноги деревяшка. Посмотрел — и говорит адъютанту: «Насчёт пенсионера запишите». А мне велел понаведаться на днях. Стало быть, скоро конец мучениям... такая радость... Позвольте вас угостить, Владимир Андреевич!

Отставной капитан Копейкин был пьян и совершенно счастлив.

ГЛАВА II

Владимир Андреевич Дубровский к восторгам нового знакомого отнёсся прохладно и в протяжении рассказа с надеждою поглядывал на дверь. Из ответной вежливости он сам пожелал угостить капитана; тот отказывался, поручик настаивал...

...и уже велел половому нести очередной кувшин «Канненброя», когда в кабачок ввалились долгожданные друзья-гвардейцы.

— Дубровский, брат, прости! — басил один из них, прижимая руку к сердцу.

— Сам понимаешь, служба! — вторили ему товарищи.

Половой придвинул соседний стол к тому, за которым сидели Копейкин с Дубровским, чтобы вся компания могла расположиться свободно. Вновь прибывшие отвергли пиво, потребовали вина и заявили, что голодны. Шкворчание на плите за открытой дверью кухни было им ответом; в зал густо потянуло дразнящим ароматом жареного мяса. Ноздри молодых офицеров затрепетали, в стаканы хлынуло вино. Общее оживление передалось подгулявшему капитану: он воспрянул ещё ненадолго, но скоро начал задрёмывать прямо за столом и после многословного прощания отправился в свою эстонскую опочивальню.

С уходом калеки Дубровский облегчённо вздохнул. Был он человеком не бессердечным, рассказ пробудил в нём сострадание, — и всё же неприязнь к убогому Копейкину пересиливала.



По молодости лет Владимир Андреевич не знал компромиссов и, как водится, за скудостью жизненного опыта делил всё на белое и чёрное: либо так, либо эдак, без полутонов и оговорок. Он искренне полагал, что военному не пристало жаловаться. Долг чести офицера – служить верой и правдой, а любые тяготы с лишениями принимать без ропота.

Никому, даже себе, не признался бы Дубровский в промелькнувшей мысли: шрапнель под Остроленкой вполне могла разорваться чуть ближе. Зазевайся в том бою ангел-хранитель, окажись фортуна менее благосклонной, – и лёгким ранением дело не ограничилось бы, а Владимир Андреевич привыкал бы сейчас к *однобокой жизни*, чтобы через двадцать пять лет мучений выглядеть как нынешний капитан Копейкин – лысеющий, жалкий...

Тьфу-тьфу-тьфу! На войну идут не умирать, а убивать. Как всякий молодой офицер с охотою представляет свою будущность? Грудь в орденах, с генеральских эполет свисают золотые макароны, тронутая благородною сединой голова гордо поднята, – и никому на ум не придёт мечтать об участи несчастного, всеми забытого калеки. Право слово, уж лучше смерть!..

...и смертью повеяло на поручика Дубровского в разговоре с капитаном Копейкиным. А ещё увечный отставник вызвал у Владимира Андреевича глухое раздражение, напомнив ему отца.

Младший Дубровский счастлив был в рязанском имении при матушке. Отец проводил время на войне или на службе в столице и виделся с родными редко – Володя едва знал его. Детство закончилось через восемь безоблачных лет: когда матушка умерла, вдовый Андрей Гаврилович забрал осиротевшего сына в столицу и определил в Кадетский корпус. Деревенскую вольницу сменила строгость казармы, а забавы с дворовыми – строевая подготовка; на место матушкиных и кормилицыных сказок пришли военные науки. Володя стал видеться с отцом чаще прежнего, но и теперь не возникло меж ними любви. Старший Дубровский не имел понятия про обхождение с ребёнком и в неуклюжести своей мало чем отличался от ротного командира. Под конец правления государя Александра Павловича он



честно выслужил чин капитана, как-то очень уж быстро получил отставку и уехал в имение под Рязань...

...а Володя по окончании учёбы выпущен был из корпуса корнетом в гвардию, остался в Петербурге и к отцу заглянул только раз – три года назад, перед самой турецкой кампанией. Считанные дни промаявшись в деревне, новоиспечённый корнет увёз оттуда родительское благословение и Гришу, сына кормилицы – своего ровесника, который с тех пор был при нём неотлучно.

Из похода младший Дубровский писал старшему о службе в Гвардейском корпусе под началом великого князя Михаила Павловича, о кровопролитном штурме Браилова и стремительном броске на Нижний Дунай, о коварстве турок и производстве в следующий чин: «Поздравьте меня, батюшка, поручиком»... Рассказы получались обстоятельными, но сухими – Владимир писал по привычке, а не от сердца. Ответные послания были так же скучны: казалось, отца занимают лишь виды на урожай, деревенское житьё-бытьё да проказы дворни.

Впрочем, отставной капитан не щадил ничего для приличного содержания сына, и по возвращении в столицу молодой офицер получал из дому даже больше денег, нежели мог ожидать. Какими трудами они достаются отцу, Владимир не задумывался. Подобно своим сослуживцам он был расточителен и честолюбив, позволял себе роскошные прихоти, охотно играл в карты и легко входил в долги. Старший Дубровский в письмах попытался его за это журить и учить уму-разуму. Владимир несколько времени терпел, а после ответил весьма резко – мол, служит не за страх, а за совесть; фамилию не срамит, прочих обязанностей за собою не знает и намерен вкушать все радости жизни до тех пор, пока не случится ему богатая невеста, мечта бедной молодости. К разговору этому они с отцом больше не возвращались, и всё пошло прежним чередом...

...но сейчас отставной капитан Копейкин всколыхнул былое, напомнив поручику отставного капитана Дубровского. Слава богу, инвалид уже поковылял восвояси, а друзья и вино за ужином сгладили раздражение от нечаянной встречи. Думать Владимиру полагалось о другом: в компании он считался заводи-



лою, к тому же по ранению не заступал в караул и, стало быть, мог целыми днями свободно выдумывать и готовить шалости. Откушав, гвардейцы приступили к нему с расспросами:

— Дубровский, голубчик, не томи! Ты что на завтра затеял?

Прежде чем ответить, Владимир закончил набивать трубку с янтарным чубуком и выпустил в потолок длинную струю табачного дыма.

— Поедем на Чёрную речку, — многозначительно молвил он. — Будет потеха, лишь бы погода не подвела.

Опасения оказались напрасными.

Чёрная речка змеилась у северной границы Петербурга, и столичные жители облюбовали для отдыха её невысокий покаты́й берег. Сюда приезжали на пикник целыми семьями из города и с окрестных дач: стелили на траве пледы, выставляли корзинки с домашней снедью и наслаждались благосклонностью капризного петербургского лета. Чиновные отцы, повернув брюки, шлёпали босыми бледными ногами вдоль кромки воды или разматывали удочки — одним удавалось подцепить на крючок шальную рыбёшку, другие с пристрастием дегустировали наливки... Матери полулёжа грызли печенье и перемывали косточки знакомым. Дети помладше резвились под присмотром нянек. Старшие мальчики гоняли мяч, безжалостно марая светлую одежду зеленью и соком одуванчиков. Юные девы в лёгких свободных платьицах играли в серсо: вооружались деревянными шпагами длиной в аршин и перебрасывали небольшой обруч с клинка на клинок.

К полудню покой и умиротворение отдыхающих были нарушены самым неожиданным образом. Барышня, ловко поймавшая обруч на шпагу, собралась отправить его сопернице, но вместо того вдруг вскрикнула и выронила оружие. Одной рукою она зажала себе рот, другой указывала на излучину реки...

...где появилась большая чёрная шляпка с десятью монахами в чёрных, низко надвинутых клобуках. Шестеро гребцов мерно вздымали вёсла, рулевой с рукою на перевязи держал румпель, и ещё трое на носу шляпки покачивали чадящими факелами. Приближаясь к месту пикника, монахи на голоса уныло затянули поминальную песнь.